



## А. ПЕШЕХОНОВ

### Новый поход против интеллигенции \*

«Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909 г.

#### I

Перед нами не альманах, не случайный сборник, каких теперь появляется много; это — книга, написанная по определенному плану. Наперед была поставлена задача, и заранее были распределены роли.

Г. Бердяев взялся опорочить русскую интеллигенцию в философском отношении.

---

\* За пятнадцать лет, как я сделался писателем, мне уже не раз приходилось касаться вопроса об интеллигенции — вопроса, имеющего особое значение в наших русских условиях. Несколько статей, посвященных этому предмету, я выделил как-то даже в особую книжку (К вопросу об интеллигенции. СПб., 1906), предвидя, что нам еще придется к этому вопросу возвращаться. И после того в своих статьях мне не раз приходилось касаться этой темы (см., напр.: Программные вопросы. Вып. 1). Теперь он вновь встал перед нами, встал во всем его объеме. Исчерпать его, сказать все, что нужно, я буду не в состоянии, да и повторяться мне не хотелось бы. Ввиду этого я просил бы читателей не забывать, что вопрос об интеллигенции имеет уже у нас свою очень большую литературу. В частности, просил бы припомнить и мои статьи. Даже с той группой писателей, о которой в настоящий раз будет идти речь, мне уже приходилось иметь дело. В той же почти комбинации (гг. Булгаков, Бердяев, Кистяковский, Струве) несколько лет тому назад они выступили со сборником «Проблемы идеализма», пытаюсь завлечь русскую интеллигенцию в дебри метафизики и в трясину мистики, — и мне пришлось им посвятить тогда особую статью «Проблемы совести и чести в учении новейших метафизиков» (К вопросу об интеллигенции. С. 75—103).

Г. Булгаков должен был обличить ее с религиозной точки зрения.

Г. Гершензон принял на себя труд изобразить ее психическое уродство.

Г. Кистяковский взялся доказать ее правовую тупость и неразвитость.

Г. Струве — ее политическую преступность.

Г. Франк — моральную несостоятельность.

Г. Изгоев — педагогическую неспособность.

За интеллигенцию взялись, таким образом, сразу семь писателей. Число — вполне достаточное; можно даже сказать: символическое... Они дружно поработали: каждый по своей специальности, да и другим помог по силе возможности. Результат получился свыше всяких ожиданий. Грехов, пороков, преступлений у русской интеллигенции оказалось такое множество, что авторы сборника, по-видимому, сами пришли в смущение, когда опубликовали результаты своих изысканий.

Некоторые из них спешат теперь уверить, что они это «любя» сделали. Интеллигенция — это же ведь наша «мать», «наше духовное отечество», пишет г. Франк. Но ведь «упрекать мать еще не значит позорить ее». И притом «если бы заповедь о почитании родителей имела безграничное значение, жизнь должна была бы застыть на месте». Главное же: «борьба идей только и интересует писателей, высказавшихся в “Вехах”»... Ну, они написали, им ответят («они ищут и просят критики»)... Глядишь — и «из столкновения мнений родилась истина»\*.

Можно подумать, что книгу писал тот самый адвокат (ныне перешедший, очевидно, в прокуратуру), для которого «истина есть результат судебного разбирательства»...

Еще проще намерен, по-видимому, извернуться г. Изгоев — благо он, как человек предусмотрительный, в самом сборнике для этого щель оставлял, «принципиальное» свое несогласие с какими-то «мотивами» оговорил. «Н. А. Бердяев и М. О. Гершензон, — пишет он теперь, отвечая одному из критиков, — оба могут быть не правы или один из них прав, другой — не прав... Брать на себя защиту взглядов гг. Бердяева и Гершензона я не призван»\*\*.

Можно подумать, что книгу-то г. Суворин издал, что это он новый «парламент мнений» открыл и что не г. Изгоев статью поместил, а г. Меньшиков...

\* Слово. 1 апреля.

\*\* Речь. 29 марта.

Вернемся, однако, к самому сборнику. У меня была мысль составить систематический список всех обвинений, предъявляемых в нем русской интеллигенции, но я вынужден отказаться от этого намерения: слишком длинный получился бы перечень, да и трудно эти обвинения свести в систему, очень уж плохо прилажены они друг к другу. Ограничусь поэтому лишь кое-какими выдержками.

Прежде всего, конечно, интеллигенция невежественна. Любовь к истине у нее парализована, интерес к истине уничтожен (с. 8), и интеллектуальная совесть у нее не развита (с. 150)... «Интеллигенция почти так же мало, как о производстве материальном, заботится о производстве духовном, о накоплении идеальных ценностей» (с. 169).

И это видимость только одна, будто интеллигенция желает просветить народ, что «она хочет дать народу просвещение, духовные блага и духовные силы». «В глубине души она считает духовное богатство роскошью»; в действительности «Иванушка-дурачок... герой русской интеллигенции» (с. 174).

Русскому интеллигенту вообще чужда и отчасти враждебна культура (с. 157). «Борьба против культуры есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа» (с. 158). «Русский интеллигент испытывает положительную любовь к упрощению, обеднению, сужению жизни» (с. 173).

Далее: «...русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нем ценности», и это находится в связи с тем, что сама она «состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы». Она «мечтательна, неделовита, легкомысленна» (с. 138). В массе своей она «безлична», имеет «все свойства стада», отличается «тупой костью и фанатической нетерпимостью» (с. 184).

Говорят, что русская интеллигенция по-своему религиозна. Даже Вл. Соловьев, которым «могла бы гордиться философия любой европейской страны», и Достоевский, которого авторы сборника тоже всячески превозносят, впали в эту ошибку. В действительности, однако, это «легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения — словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания» (с. 138—139). «Вера была такова, что поощряла самый необузданный фанатизм, — настоящее магометанство... Личность признавалась безответственной. Это была очень удобная вера, вполне отвечавшая одной из неискоренимых черт человеческой природы — умственной и нравственной лени» (с. 93).

Не лучше и этика интеллигенции... «Нигилизм есть страшный бич, ужасная духовная язва, разъедающая наше общество. Героическое «все позволено» незаметно подменяется просто беспринципностью во всем, что касается личной жизни, личного поведения, чем наполняются житейские будни» (с. 46). В конце концов «нигилизм классовый и партийный сменился нигилизмом личным или попросту хулиганским насильничеством» (с. 176). «Картина своеволия, экспроприаторства, массового террора — все это явилось не случайно, но было раскрытием тех духовных потенций, которые необходимо таятся в психологии самообожения» (с. 45). Русская интеллигенция оказалась «не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата» (с. 178)...

Не подумайте, что я выбрал наиболее резкие места, наиболее тяжкие обвинения... Я просто взял те черты русской интеллигенции, о которых авторы сборника достаточно дружно и согласнo свидетельствуют. Что касается резкостей, то в своей характеристике они не останавливаются и пред такими выражениями, как «авантюризм» (с. 43), «ханжество» (с. 45), «великий разврат» (с. 71), «умственный блуд» (с. 92), «разгул делячества и карьеризма» («особенно в верхних слоях интеллигенции» — с. 92), «бездонное легкомыслие» (с. 137), «готтентотская мораль» (с. 171) и т. п. Их обличительная проповедь нередко переходит в площадную ругань, а их пафос напоминает подчас запальчивость, доходящую почти до беспамятства.

«Что делала, — восклицает один из авторов, — наша интеллигентская мысль последние полвека?.. Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь: “Все на улицу! Стыдно сидеть дома!” — и все создания высыпали на площадь, хромые, слепые, безрукие, ни одно не осталось дома. Полвека толкутся они на площади, голоса и перебраниваясь...»

Когда читаешь про эти «безрукие и хромые создания», которые «голосят и перебраниваются» на площади, то с трудом веришь, что это написал человек в твердой памяти — человек, которого семь писателей выдвинули из своей среды в качестве своего представителя и чуть ли даже не редактора (им подписано предисловие к сборнику)... Но будем читать дальше.

«Никто не жил — все делали (или делали вид, что делают) общественное дело. Не жили даже эгоистически, не радовались жизни, не наслаждались свободно ее утехами, но урывками хватали куски и глотали, почти не разжевывая, стыдясь и вместе вождедея, как проказливая собака» (с. 80)...

Как проказливая собака... Вот какую жизнь вела русская интеллигенция последние полвека. В целом «интеллигентский быт ужасен, подлинная мерзость запустения... Праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, грязь и хаос в брачных и вообще в половых отношениях, наивная недобросовестность в работе, в общественных делах — необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности, перед властью — то гордый вызов, то покладливость...» (с. 81).

«Сонмище больных, изолированное в родной стране, — вот что такое русская интеллигенция» (с. 81). Имеются в сборнике и другие для нее определения: орден самоубийц (с. 203), кучка каких-то насильников (с. 176)... Своих отцов она презирает (с. 55), своих детей развращает (с. 47 и 186), свой народ деморализует (с. 63 и 104). «Она... не служит ни миру, ни Богу» (с. 132), «ведет паразитическое существование на народном теле...» (с. 170).

Если собрать воедино все черты, какими характеризуется в «Вехах» русская интеллигенция, то получится нечто ужасное. Это прямо какое-то чудовище...

Нет ничего удивительного после этого, что «наши лучшие люди с отвращением смотрели на нас и отказывались благословить наше дело».

«Силу художественного гения, — пишет г. Гершензон, — у нас почти безошибочно можно было измерять степень его ненависти к интеллигенции, достаточно назвать гениальнейших Л. Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета...» (с. 83).

К числу «гениальнейших», несомненно, нужно отнести и самого г. Гершензона, давшего нам такие яркие художественные образы, как «безрукие создания» и «проказливые собаки»: ненависть его к интеллигенции, судя по статье, напечатанной в «Вехах», бесспорно превосходит ненависть Толстого, Достоевского, Тютчева и Фета, даже вместе взятых.

С другой стороны, понятно и то, что «народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас» (с. 87).

«Мы для него не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души и потому ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои» (с. 88).

«Нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом — бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять

эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной...» (с. 88).

Стало быть, прав г. Дубровин, который все время твердил, что только виселицы и спасают нас, а то бы русский народ давно уже разорвал всех нас в клочья...

## II

Как видите, семь писателей потрудились не напрасно. Задачу свою они выполнили блестяще: много пороков и преступлений нашли они у русской интеллигенции — так много, что, кажется, нет греха, в котором она не была бы виновата. Можно сказать, в конец ее ошельмовали... Как они достигли таких результатов?

Да очень просто: особые приемы употребили, ну, и старание, конечно, приложили...

Секрет их отчасти уже вскрыт г. Левиным. «Интеллигенция принадлежит к человечеству; стало быть, ничто человеческое ей не чуждо, не чужды ей и общечеловеческие грехи, общечеловеческие слабости. Интеллигенция принадлежит к народу, к обществу — стало быть, ей не могут быть чужды грехи и слабости, характеризующие народ и общество, их быт, ту степень культуры, на которой они находятся...» \*

Таков один из приемов, которым воспользовались авторы «Вех»: то, что свойственно вообще роду, они приписывают виду в качестве характерной для него именно особенности. Подумайте: сколько на этом только основании можно приписать грехов и пороков русской интеллигенции... И все они покажутся правдоподобными... Да, есть это, есть — скажет читатель, и ему трудно будет отделаться от этой мысли, потому что это действительно есть — есть в русской интеллигенции, в русском народе, во всем человечестве.

Возьмем, в самом деле, хотя бы невежество. Что и говорить, грешна в этом русская интеллигенция: многим и многим в ее среде, да и всем вообще следовало бы поучиться... Но есть ли это характерная особенность именно интеллигенции? Если мы возьмем русский народ в целом, то не окажется ли он еще невежественнее? Правда, г. Булгаков, «не обинуюсь», пишет, «что народ наш, при всей своей неграмотности, просвещеннее своей интеллигенции». Но легко понять, что утверждать это можно

\* Речь. 29 марта.

только в обличительном азарте или в покаянном умилении... Да и «свет» г. Булгаков имеет в виду совершенно особый — не научное знание, а «свет Христов», «подобный лампадам, теплившимся в иноческих обителях» (с. 63).

Попробуйте повернуть вопрос... Решитесь ли вы сказать и даже про себя только подумать: вот этот человек невежественнее, стало быть, он интеллигентнее? Или этот человек интеллигентный, потому что он невежествен? Невежественность если и означает что, то недостаток интеллигентности и уж ни в коем случае не является ее отличительным признаком, характерною особенностью интеллигенции. А между тем именно этот последний тезис и ставят авторы «Вех». Для их цели можно было бы сказать, что среди русской интеллигенции имеются невежественные люди или что вообще образовательный уровень ее невысок (пусть бы это говорили!); им нужно доказать, что невежественность — это органическое свойство русской интеллигенции, неразрывно связанное с ее мирозерцанием, являющееся непременно чертою ее духовного облика...

Доказать это взялся г. Бердяев, которому, как я уже сказал, досталось опорочить русскую интеллигенцию в философском отношении. Надо отдать ему честь, большую находчивость он в этом проявил и даже с благородством, можно сказать, поступил: он одну из добродетелей русской интеллигенции возвеличил и такое место в ее мирозерцании этой добродетели отвел, что нужный ему порок сам собою, можно сказать, появился и до желательных ему размеров вырос.

«С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения, — пишет, а далее и подчеркивает г. Бердяев, — случилось вот какого рода несчастье: *любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине...*»

Интеллигенция, видите ли, слишком добродетельна, слишком народ любит — поэтому невежество и является обязательным ее свойством.

«Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что бескорыстно отнеслась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья... Основное моральное суждение интеллигенции укладывалось в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее, долой истину, если она стоит на пути заветного клича: «Долой самодержавие!» (с. 8).

Имеется ли такая истина, от гибели которой люди будут счастливее, которая мешала бы борьбе с самодержавием и которая была бы вообще непримирима со справедливостью, — мы не знаем. По-видимому, и сам г. Бердяев такой истины не знает. Во всяком случае, он не привел ни одного примера, чтобы интеллигенция отказалась признать истину, зная, что это *истина*. Да и зачем? Свою задачу ведь он выполнил, умственный «паралич» русской интеллигенции доказал... Дальше можно уже оперировать такими словами, как «абсолютная ценность», «боголюбие», «народопоклонство» и т. п. Дальше уже можно с видом непогрешимости изрекать, что «наука Чичерина» — настоящая наука, а «наука Михайловского» — не настоящая (с. 12), что Чернышевский как философ в подметки не годится Юркевичу (с. 5), что вообще «свойства русского национального духа указуют на то, что мы призваны творить в области религиозной философии» (с. 19), что «П. Б. Струве — самый культурный и ученый из наших марксистов» (с. 14), что вообще он — «объективный и научный» (с. 15) и т. д.

Не удивляйтесь тому, что г. Бердяев хотя одну добродетель за русской интеллигенцией при этом признал, а именно приписал ей народолюбие в преувеличенных даже размерах. Просто — это не по его специальности. Нашлись другие специалисты, которые потом и эту добродетель в порок превратили. Г. Франк, например, который взялся аргументировать моральную несостоятельность русской интеллигенции, без труда доказал, что в действительности социалисты вовсе не альтруисты и что интеллигенция любит «не живых людей, а лишь свою идею» (с. 163). В результате такой всесторонней обработки и оказалось, что русская интеллигенция и невежественна, и народа своего не любит...

Вообще разработка по специальностям много содействовала успеху исследования в целом. Но такая постановка имела и свои неудобства. В частности, по вопросу о невежестве русской интеллигенции между специалистами получилось такое противоречие, что критика сразу обратила на него внимание.

Г. Бердяев, как мы видели, доказал, что любовь к истине у русской интеллигенции парализована... А г. Гершензон, который взялся изобразить психическое уродство интеллигенции, надумал совсем в ином смысле ее душу искалечить. Из его статьи вытекает, что интеллигенция не только не уклонялась от истины, но и не могла уклониться, если бы даже хотела. В самом деле, истина ведь «с неотразимую силою внедряется в каждое отдельное сознание так, что, раз представ уму, она уже



овладевает им, от нее некуда убежать» (с. 73). И уродство, по мнению г. Гершензона, заключается совершенно в другом — не в том, что интеллигенция не любит истины, а в том, что она «обжирается истиной» (с. 79), обжирается ею «без разбора» и обжирается «праздно».

При «нормальной деятельности сознания», по мнению этого исследователя, наша мысль «истину принимает в себя не всю без разбора, а только ту, которая нужна ей для личной работы» (с. 74). Таким образом, в том самом, что г. Бердяев считает уродством, а именно, что интеллигенция ищет и воспринимает ту истину, которая нужна ей, г. Гершензон видит нормальную деятельность сознания. Зато последний и порок нашел в интеллигенции, как раз обратный тому, какой приписал ей г. Бердяев. «Одной тысячной доли той истины, которую мы знаем, — пишет г. Гершензон, — было бы достаточно, чтобы сделать каждого из нас святым» (с. 73). Но в том-то и дело, что русская интеллигенция, обжираясь истиной, не хочет воспользоваться ею. Она «не стыдится того, что жизнь темна и скудна правдою, когда в сознании уже накоплены великие богатства истины» (с. 79), — вот в чем ее уродство, вот в чем ее преступление. Этот разлад и «сделал интеллигента калекой». Будь в России другая интеллигенция, будь «хоть горсть цельных людей», в которых не было бы этого разлада между мыслью и волей, — «деспотизм был бы немислим» (с. 79).

Вот что могут натворить специалисты, когда они плохо договорятся между собою. Один вам доказал, что русская интеллигенция чересчур любит свой народ и не любит истины, другой, как раз наоборот, — что она чересчур любит истину и не любит народа. Тот и другой доказывают наличие разлада между волей и мыслью, но один видит этот разлад в том, что мысль находится в рабстве у воли, а другой — в том, что воля подавлена мыслью. Один утверждает, что руки и ноги мешают сознанию, другой — что это самое сознание совсем «безрукое» или, по крайней мере, «хромое».

И вы недоумеваете, где же правда... Как будто и тут, и там она есть... Как будто, действительно, русская интеллигенция «требовала от истины, чтобы она стала орудием народного благополучия», а с другой стороны, и то верно, что истина, какова бы она ни была, «с неотразимою силою внедряется в каждое отдельное сознание» и что у русской интеллигенции, действительно, имеется много истин, не претворенных еще в дело, а она спешит хватать их как можно больше... Как будто разлад между мыслью и волей, действительно, у нее имеется...

Разлад между волей и интеллектом... Конечно, он есть. Но «ведь это, — подсмеивается в цитированной уже мною статье г. Левин, — такая широкая схема, что Шопенгауэр вместил в нее все грехи мира, даже самое бытие мира, которое Шопенгауэр, как истый буддист, признает сплошным грехопадением. Диво ли, что в эту бесконечную бездну проваливается и наша интеллигенция?»

Имеется разлад между мыслью и волей и у русской интеллигенции, имеется и в том смысле, в каком указывает его г. Бердяев, и в том, какой придал ему г. Гершензон. Понаблюдайте за собой, покопайтесь в своей душе, и оба греха вы в ней найдете. Иной раз вам не хочется признать истину, которая идет вразрез с вашими идеалами, в другом случае вы хватаетесь за новую истину, хотя и без того в вашем сознании много таких, которых вы не реализовали еще в жизни. Нужно ли, однако, доказывать, что это не уродства интеллигентской души, а общие свойства человеческого духа? Последнему одинаково свойственно и стремление к истине, и стремление к справедливости. Не всегда эти стремления совпадают между собою, и не сразу удается истину слить со справедливостью.

Вот за эти-то общечеловеческие свойства, за эти-то появляющиеся в человеческой душе противоречия и ухватились авторы «Вех». Приписав их интеллигенции в качестве характерных, свойственных ей только одной особенностей, они старательно начали их углублять и расширять — и сразу вырыли две могилы. И нам теперь приходится недоумевать, в какой же из них они намерены похоронить русскую интеллигенцию...

Между тем последнюю труднее, чем кого-либо, уложить в любую из вырытых авторами «Вех» яму. Возьмем, в самом деле, хотя бы г. Бердяева. Какую это «радикальную реформу» считает он нужным произвести в «интеллигентском сознании»? А вот какую. «Все исторические и психологические данные, — пишет он, заканчивая свою статью, — говорят за то, что русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяющего положительно ценную потребность интеллигенции в органическом соединении теории и практики, «правды-истины» и «правды-справедливости»» (с. 21).

Но позвольте, милостивый государь! Откуда вы этот синтез-то взяли? Не у Михайловского ли вы это заимствовали? Вот ведь что 20 лет тому назад писал этот «типичнейший интеллигент» (с. 135), как его называют «Вехи»: «Правда-истина, разлученная с правдой-справедливостью, правда теоретического

неба, отрезанная от правды практической земли, всегда оскорбляла меня, а не только не удовлетворяла. И, наоборот, благородная житейская практика, самые высокие нравственные и общественные идеалы представлялись мне всегда обидно бесильными, если они отворачивались от истины, от науки. Я никогда не мог поверить и сейчас не верю, чтобы нельзя было найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя. Во всяком случае, выработка такой точки зрения есть высшая из задач, какие могут представиться человеческому уму, и нет усилий, которых жалко было бы потратить на нее. Безбоязненно смотреть в глаза действительности и ее отражению — правде-истине, правде объективной и в то же время охранять и правду-справедливость, правду субъективную — такова задача всей моей жизни» \*.

Такова задача всей русской интеллигенции... Что же, милостивый государь, вы нового-то предлагаете?.. Или вы хотите сказать, что «сейчас мы духовно нуждаемся, в признании самоценности истины, в стремлении перед истиной и готовности на отречение во имя ее»? Вы это и сказали, «отречение» вы и предложили в качестве потребности текущего-де момента. Отречение — от чего? От справедливости? «Это — по вашим словам — внесло бы освежающую струю в наше культурное творчество». Но вы тотчас же спохватились (заметят!), или товарищи вас одернули (в сборнике много таких, по-видимому, одергиваний имеется), и к только что приведенным словам сами сделали такое подстрочное примечание: «Смирение перед истиной имеет большое моральное значение, но не должно вести к культуре мертвой, отвлеченной истины» (с. 21).

Что же в конце концов получилось? Русскую интеллигенцию вы опорочили, науку ее признали ненастоящей, философию ее объявили «кружковой отсебятиной» (с. 19)... А когда пришлось на вопрос дать прямой ответ, то смелости в вас и не хватило. За ненастоящую науку вы ухватились и ни на шаг от того, что сказано в предисловии к сочинениям Михайловского, отойти не решились...

Если иметь в виду всех авторов сборника, то придется сказать, что не столько, быть может, смелости, сколько единодушия в них не хватило. «Вехи»-то они сообща поставили, а куда вести русскую интеллигенцию, не договорились: в сторону ли от правды-истины или в сторону от правды-справедливости?

\* Михайловский Н. К. Сочинения. Т. I. Предисловие.

И куда ее привести? Г. Булгаков, например, желает воссоединить ее с православной церковью, а гг. Струве и Изгоев — с буржуазией...

Вот они и кружат... Им бы ведь лишь похоронить интеллигенцию — на том весь сборник построен. Авось, она упадет в ту или другую яму...

### III

Характеризуя прием, каким воспользовались авторы «Вех», я подробно разобрал наиболее правдоподобные их обвинения. В «борьбе идей», если вы желаете одержать победу, нужно бить по самым сильным местам противника. Я так и поступил. Останавливаясь на других обвинениях, предъявляемых на том же основании к русской интеллигенции, в сущности нет даже надобности. Очень уж белыми нитками они пришиты — и эти нитки видны с первого взгляда.

Стоит ли, в самом деле, останавливаться хотя бы на «фанатической нетерпимости» русской интеллигенции — тоже, если хотите, на правдоподобном обвинении? «Нетерпимость и взаимные распри, — пишет, например, г. Булгаков, — суть настолько известные черты нашей партийной интеллигенции, что об этом достаточно лишь упомянуть...» Очень тонко он это подметил. Но вот что любопытно. Г. Булгаков объясняет эту нетерпимость атеизмом русской интеллигенции, ее героизмом, основанным-де на самообожении, тем, что она воображает себя Провидением... И очень это ловко у него выходит: с полной очевидностью вытекает, что нетерпимость — это органическое свойство интеллигенции, неотделимая черта ее духовного облика. Все дело в ее мирозерцании, в ее атеизме... Но только что это доказал г. Булгаков, как его одернуть пришлось — подстрочное примечание поместить: «Рознь наблюдается, конечно, и в истории христианских и иных религиозных сект и исповеданий...» (с. 40).

И, действительно, зарепортовался ведь г. Булгаков — нельзя было его не одернуть. Пришлось даже следы заметать: «...до известной степени и здесь (т. е. в истории религиозных исповеданий) наблюдается, — читаем мы дальше, — психология героизма, но эти распри имеют, однако, и свои специальные причины, с нею не связанные». Что это за специальные причины — неизвестно... Но ведь это и неважно. Факт тот, что распри и там были. Дело, стало быть, не в специфической какой-

то особенности русской интеллигенции, а в некоторой общечеловеческой слабости. И если русская интеллигенция повинна в ней, то, конечно, ни в коем случае не больше, а несравненно меньше, чем религиозные секты и исповедания, не исключая христианских...

Стоит ли далее останавливаться на правовой тупости и неразвитости русской интеллигенции, которую так старательно аргументирует г. Кистяковский. Но он ведь сам приводит слова Герцена: «Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школой. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую, он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно также поступает правительство».

Почему же г. Кистяковский обвиняет во всем русскую интеллигенцию? А обвинений ей он много предъявляет... И в том ее вина, что суд у нас плох (с. 121—124), и в том, что «Россия до сих пор еще управляется при помощи чрезвычайной охраны и военного положения» (с. 118), и в том, что у нас не могла установиться свобода слова и собраний (с. 112—114).

«Теперь мы дожили до того, — пишет г. Кистяковский, — что даже в Государственной Думе третьего созыва не существует полной и равной для всех свободы слова, так как свобода при обсуждении одних и тех же вопросов не одинакова для господствующей партии и оппозиции...» (с. 114).

Даже за нравы третьей Думы должна отвечать русская интеллигенция, даже за поведение октябристов приходится нести ей ответственность... Впрочем, к слову сказать, г. Струве обвиняет ее даже в том, что «явились военно-полевые суды и бесконечные смертные казни» (с. 142)... Но помилосердствуйте же, господа! Положим, принято говорить: каков народ, таково и правительство. Но ведь если в эту формулу вместо «народ» мы начнем подставлять какую нам только захочется группу, то в конце концов можно будет сказать, что во всем, вплоть до виселиц, виноваты писатели, высказавшиеся в «Вехах»...

Стоит ли далее останавливаться на обвинении, какое предъявил к русской интеллигенции и даже статистически обосновал г. Изгоев? Заглянул он, видите ли, в брошюру доктора Членова<sup>1</sup>: Боже, сколько студентов занималось в детстве онанизмом! Как много среди них таких, которые свою половую жизнь начали с горничными! Вот и готово обвинение русской

интеллигенции в педагогической неспособности. Чего уж больше! «Она не способна сохранить даже просто физические силы детей, предохранить их от раннего растрепания». Не то на Западе.

«Не говорю, — пишет г. Изгоев, — об Англии и Германии, где, по общим признаниям, половая жизнь детей культурных классов течет нормально и где развращение прислужкой детей представляет не обычное, как у нас, но исключительное явление. Даже во Франции, с именем которой у нас соединилось представление о всяких половых извращениях, даже там, в этой стране южного солнца и фривольной литературы, в культурных семьях нет такого огромного количества половых скороспелок, как в северной, холодной России...» (с. 186).

К сожалению, г. Изгоев не объяснил, будет ли меньше в России детей-онанистов и развращенных горничных после того, как русская интеллигенция последует его совету и признает себя одним из «средних слоев», после того, как она растворится в буржуазии. По-видимому, он и сам в этом не уверен. Не напрасно ведь в приведенной мной выдержке он пишет о «культурных семьях» — и лишь при помощи кое-каких словесных оборотов всех онанистов и половых скороспелок взваливает на плечи «интеллигенции». Что касается Запада, то и тут, по-видимому, не случайно статистике д-ра Членова г. Изгоев противопоставил всего лишь «общие признания». Очевидно, никакой справки он не навел и даже в памяти своей не покопался... А то бы он, вероятно, кое-что припомнил — ну, хотя бы «Физиологию обыденной жизни» Льюиса<sup>2</sup>, очень ходкую в дни нашего юношества книгу, которую и он, вероятно, читал, — припомнил бы, что онанисты среди западноевропейских детей трактуются в ней как общее правило... Только при помощи запятования и подстановки г. Изгоев и мог широко распространенные, к несчастью, аномалии в детской половой жизни поставить на счет русской интеллигенции в качестве характерной для нее особенности...

Стоит ли, наконец, останавливаться на таких пороках русской интеллигенции, как «праздность», «неряшливость», «грязь в половых отношениях», «недобросовестность в работе», «покладливость перед властью» и т. п. Не спорю — может быть, г. Гершензон и наблюдал все это в «интеллигентском быту», в тех кружках, в которых он вращался и вращается. Всякие пороки свойственны людям, но выдавать их за органические свойства русской интеллигенции, за характерные черты ее духовного облика... Противно даже говорить об этом. Достаточно сказать, что завидные результаты, которых удалось дос-

тигнуть г. Гершензону, объясняются, очевидно, тем, что им применены в данном случае оба приема, которыми воспользовались авторы «Вех», — и тем, о котором я говорил до сих пор, и тем, о котором мне придется говорить дальше.

#### IV

Критика уже отметила, что, написав целую книгу о русской интеллигенции, авторы «Вех» не дали ей общего определения.

«Первое, что бросается в глаза, — пишет г. Игнатов, — это неряшливость предварительного следствия. Не определив с точностью, кто участвовал в преступном сообществе, именуемом “русская интеллигенция”, уже начали процесс...» \*

Отсюда «неустойчивость самого термина: интеллигенция». Это не помешало, конечно, авторам «Вех» направить удар в определенную сторону и даже сосредоточить силу его на определенной части русского общества. Читая книгу, вы ясно видите, против кого она направлена, какая это интеллигенция должна «перестать существовать как особая культурная категория» (с. 144) и какая это новая категория должна занять ее место в русской жизни.

«Атеистическая» интеллигенция должна уступить место «церковной», космополитическая — националистической, социалистическая — буржуазной... Признаки, как видите, можно найти достаточно определенные. Авторы «Вех» неоднократно называют и по имени главный объект своей ненависти. Это — «народничество», с «победоносным и всепожирающим народническим духом» они и ведут главным образом борьбу. Правда, «народничество» они понимают шире, чем это всеми принято. Они включают в него и марксизм, который, по их мнению, это только «перелицованное народничество». «Марксистские победы над народничеством, — пишет г. Бердяев, — не привели к глубокому кризису природы русской интеллигенции, она осталась староверческой и народнической и в европейском одеянии марксизма» (с. 6).

«Победоносный и всепожирающий народнический дух, — говорит г. Франк, — поглотил и ассимилировал марксистскую теорию... По своему этическому существу русский интеллигент приблизительно с 70-х годов и до наших дней остается упорным и закоренелым *народником*» (с. 159).

\* Русские ведомости. 25 марта.

В некоторых отношениях авторы «Вех», по-видимому, считают марксизм даже зловреднее народничества. Так, г. Струве, говоря, что народническая проповедь превращалась «в разнуздание и деморализацию», вставляет: «не говоря уже о марксистской» (с. 140)... Как бы то ни было, против кого направлена книга в ее целом, это — повторяю — достаточно ясно.

Но все поименованные мною признаки указаны в отдельных статьях, и ни один, по-видимому, у них не считался обязательным для всех семи писателей. Каждый автор оперирует на облюбованной им территории; если результаты его не удовлетворяют, то он перебирается на другую, не стесняясь при этом выходить далеко за указанные общие пределы — за пределы атеизма, космополитизма и социализма. Лишь бы найти побольше грехов, пороков, преступлений...

Так же неопределенны пределы изысканий семи писателей и во времени. Г. Франк, как мы только что видели, начинает родословную русской интеллигенции «приблизительно с 70-х годов». И, заканчивая свое исследование, он изъявляет готовность «через семидесятые годы подать руку тридцатым и сороковым годам, возродив в новой форме, что было вечного и абсолютно ценного в исканиях духовных пионеров той эпохи». Несколько дальше вглубь забирает г. Струве: по его мнению, уже «в 60-х годах, с их развитием журналистики и публицистики, интеллигенция явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое», а «первым русским интеллигентом» он считает Бакунина — как раз одного из «людей 40-х годов». И себя связать он хочет уже не с ними, а с Новиковым, Радищевым — не дальше Чаадаева — с этими «воистину упоенными Богом людьми». «Это не звенья одного и того же ряда, — говорит г. Струве, противопоставляя их Бакунину и всей позднейшей интеллигенции, — это два по существу непримиримых духовных течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу» (с. 134). Г. Гершензон, которому не чужды, по-видимому, некоторые славянофильские тенденции, сразу хватается много дальше. «Наша интеллигенция, — говорит он, — справедливо ведет свою родословную от петровской реформы»; последняя и искалечила интеллигентскую душу (с. 78—79). Г. Булгаков то Белинского считает «отцом русской интеллигенции» (с. 56), то рассматривает ее как «создание Петрово» (с. 25), то забирается совсем в глубь веков — в эпоху Реформации — и там начинает разыскивать корни и нити всех ее грехов и преступлений (с. 34). Г. Кистяковский более тесными пределами себя ограничил — с Герцена и славянофилов на-



чал, — но в этих пределах он тоже держит себя совершенно свободно: одну полосу тщательно обшарит, другую, раз в ней не то попадается, что ему нужно, совсем обойдет; в одном десятилетии за одним направлением общественной мысли следит, в Другом за другим — опять-таки где больше нужного ему «непонимания» найти можно.

Обширную, хотя и неопределенную территорию охватили семь писателей своими розысками; большой, хотя и неопределенный период времени они исследовали... Каждый тщательно собирал материалы для обвинения и не менее тщательно обходил и выделял все, что могло, по его мнению, смягчить их или опровергнуть. А потом все собранное таким образом стащили в одну кучу — и поставили на счет русской интеллигенции.

Один их прием, как мы видели, состоял в том, что собственное целому роду они приписывали в качестве характерной особенности виду; другой их прием заключался в том, что они приписывали целому виду то, что им удалось подметить у той или иной из его разновидностей и даже хотя бы у отдельного индивидуума — подметить в настоящем или в прошлом, если не в одну эпоху, то в другую.

Куча получилась немалая — под нею, казалось бы, можно было похоронить русскую интеллигенцию. Одна беда: эта куча сама собой рассыпается. Легко понять, что при указанном методе в книге неизбежно должна была получиться масса противоречий — больше того: взаимно исключаящих друг друга положений. У одной разновидности оказался один порок, у другой — прямо ему противоположный; для одной эпохи характерно было одно прегрешение, а другая — впала в грех как раз обратный; много и то значит, с какой кто точки зрения смотрел: в одном и том же объекте один порок открыл, другой добродетель заметил... Соединив собранные ими материалы в одну кучу, авторы «Вех», очевидно, и сами обратили внимание, что они плохо укладываются вместе: торчат в разные стороны — того и гляди, вся куча рассыплется. В предисловии они спешат предупредить об этом и успокоить своих читателей, что это только «кажущееся противоречие» и что происходит-де оно от того, что «вопрос исследуется участниками в разных плоскостях».

Для наших читателей я считаю все-таки нелишним привести несколько примеров. Начну с самого безобидного.

Славянофилы, казалось бы, должны были остаться за указанными выше общими пределами — за пределами атеизма, космополитизма и социализма. И действительно, если взять

сборник в целом, то славянофилы в нем противопоставляются «русской интеллигенции», которая предназначена к ошельмованию. Это — «лучшие умы», и притом «наши». Вот бы у кого следовало учиться — укоряет г. Гершензон (с. 81). Но вот г. Кистяковскому, чтобы доказать «непонимание значения правовых норм» русской интеллигенцией, и славянофильский грех понадобился. «Не обвиняясь», как выражается в таких случаях г. Булгаков, он и пользуется им в качестве аргумента. «В слабости внешних правовых норм и даже в полном отсутствии внешнего порядка, — пишет г. Кистяковский, — они (славянофилы сороковых годов. — А. П.) усматривали положительную, а не отрицательную сторону» (с. 103). Правда, и тогда в среде русской интеллигенции были люди, которые высмеивали эти взгляды, — г. Кистяковский сам приводит стихотворение Алмазова, в котором тот вышутил по этому поводу К. С. Аксакова. Но это в счет не идет и несколько не мешает тому же г. Кистяковскому указанное «непонимание» признать «*общим* свойством *всей* нашей интеллигенции» (с. 104, курсив мой. — А. П.).

Правда, кроме славянофилов он ссылается еще на Герцена, на Михайловского, на Плеханова... Видите ли: на протяжении 60 лет, от сороковых годов и до самого последнего времени, никто не понимал, да так и не понял значения правовых норм. Был момент, когда интеллигентское сознание как будто прояснилось на этот счет.

«Новая волна западничества, хлынувшая в начале девяностых годов вместе с марксизмом, начала немного прояснять правовое сознание русской интеллигенции... Наша интеллигенция наконец поняла, что всякая социальная борьба есть борьба политическая... что борьба за политическую свободу есть первая и насущнейшая задача всякой социалистической партии и т. д., и т. д. Можно было ожидать, что наша интеллигенция наконец признает и безотносительную ценность личности и потребует осуществления ее прав и неприкосновенности...» (с. 109—110).

«Но дефекты правосознания нашей интеллигенции, — продолжает г. Кистяковский, — не так легко устранимы. Несмотря на школу марксизма, пройденную ею, отношение ее к праву осталось прежним». Просвещение, по-видимому, продолжалось до тех лишь пор, пока в рядах марксистов оставался г. Струве, написавший, как сообщает г. Кистяковский, манифест о первом съезде с<оциал>-д<емократической> партии (1898). Ко второму съезду последней (1903) понимание значения правовых норм опять исчезло (с. 110 и след.).

Такова вкратце история отношения русской интеллигенции к праву и политике в изложении г. Кистяковского. Жалея место, я не стану говорить о том, как он пользуется Герценом, Михайловским, Плехановым, хотя и любопытно было бы остановиться на этом. Характерно уже то, что за отношением русской интеллигенции к праву и политике он следит: в 40-х годах — по учению славянофилов, в 70-х — по воспоминаниям о народниках, в 90-х и дальнейших — по первым выступлениям социал-демократов. Почему он так перескакивает — нетрудно понять из следующего.

Г. Кистяковскому известно, конечно, о том переломе, который произошел во второй половине 70-х годов в отношении народнической интеллигенции к политике (с. 109). Она не только поняла, что «борьба за политическую свободу есть первая и насущнейшая задача всякой политической партии», но и предприняла за эту самую свободу отчаянную борьбу... Но мало ли что... Это в счет не идет. И народники, у которых уже нельзя найти нужных г. Кистяковскому аргументов, с этого момента его нисколько не интересуют. Настолько не интересуют, что он забывает даже то, что происходило на его памяти и, быть может, при его даже участии. Правовое просветление русской интеллигенции он связывает, как мы видели, с появлением у нас марксизма. Между тем в действительности марксизм на первых порах скорее затемнил, чем прояснил в этом отношении сознание интеллигенции. Г. Кистяковский, очевидно, забыл знаменитые споры об экономическом базисе и правовой надстройке — споры, в которых марксисты все сводили к экономике, а народники доказывали самостоятельное значение политики...

Представим, однако, себе что г. Кистяковский убедил нас. Согласимся с ним, что русская интеллигенция все время «стремилась к более высоким и безотносительным идеалам», пренебрегала правом как «второстепенной ценностью» и не понимала значения политической борьбы... Но как же нам быть, если г. Франк ту же самую интеллигенцию обвиняет в «отрицании или непризнании абсолютных (объективных) ценностей» (с. 153), а г. Гершензон в том, что она все время находилась под «тиранией политики» (с. 92)? Как нам быть, если один автор «Вех» обвиняет интеллигенцию в том, что она стремилась право заменить этикой, а другие — в том, что у нее этика была вытеснена политикой? Кому же нам верить? Как примирить эти взаимно исключаящие друг друга обвинения?

Возьму другой пример. Л. Толстой, казалось бы, как и славянофилы, должен был остаться за общими пределами «русской интеллигенции», которую имеют в виду авторы «Вех». И действительно, в сборнике он многократно противопоставляется последней. Даже сила художественного гения Толстого, как мы видели, измеряется степенью его ненависти к интеллигенции. Больше того: в предисловии авторы «Вех» называют Толстого в качестве своего предтечи... При таких условиях, казалось бы, хоть толстовство-то они не поставят на счет русской интеллигенции... Но вот г. Франку понадобилось доказать враждебное отношение русской интеллигенции к культуре, и он, не обинуясь, пишет: «Борьба против культуры есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа; культ *опрощения* есть не специфически толстовская идея, а некоторое общее свойство интеллигентского умонастроения» (с. 158).

Но позвольте, господа! Как же это выходит: Толстого вы к себе берете, а «опрощение» нам подбрасываете? Или вы только «десницу» Толстого, то есть художественный талант себе присваиваете, а нам его «шуйцу», враждебное отношение к культуре, оставляете — шуйцу, с которой так энергично боролся не кто иной, как «типичный интеллигент» Михайловский?..<sup>3</sup>

«Достоевский и Толстой, — пишет г. Струве, — каждый по-разному, срывают с себя и далеко отбрасывают мундир интеллигента» (с. 135). Но скажите, пожалуйста, когда именно Толстой это сделал? По-видимому, г. Струве имеет в виду тот перелом в Толстом, после которого он в мужицкую сермягу облачился. Но ведь если послушать г. Франка, то в этом как раз «общее свойство интеллигентского умонастроения» сказались, и выходит, стало быть, что Толстой не снял тогда, а надел мундир интеллигента... Снял или надел? Чему мы должны верить?

Не удивляйтесь, что «культ опрощения», хотя он, как известно, очень мало нашел себе поклонников среди интеллигенции и в самом сборнике толстовство называется «кратким эпизодом» (с. 173) в ее жизни, оказался возведенным на степень ее «общего свойства». Как я уже сказал, таков прием, которым все время пользуются авторы «Вех». Кроме «толстовства» была «писаревщина» — и это «общее свойство».

«Вся писаревщина, это буйное восстание против эстетики, — пишет г. Франк, — была не просто единичным эпизодом нашего духовного развития, а скорее лишь выпуклым стеклом, которое собрало в одну яркую точку лучи варварского иконо-

борства, неизменно горящие в интеллигентском сознании» (с. 150). И вместе с тем доказал, что «эстетическая совесть» интеллигенции заглушена...

Был максимализм, к экспроприациям русские интеллигенты имели касательство... И вот: «максимализм есть неотъемлемая черта интеллигентского героизма», — пишет г. Булгаков, который, к слову сказать, в героизме видит характерную особенность русской интеллигенции и который взялся именно эту черту ее духовного облика опорочить, сводя героизм к самообожению. «Это (т. е. максимализм. — А. П.), — продолжает он дальше, — не принадлежность какой-либо одной партии, нет — это самая душа героизма, ибо герой вообще не мирится на малом» (с. 39). А своеволие, экспроприаторство, массовый террор — это только «раскрытие тех духовных потенций, которые необходимо таятся в психологии самообожения» (с. 45).

Было «санинство»<sup>4</sup>, «декадентство» имеется... Тоже — общие свойства (с. 173). Азеф был, провокация была... Тоже — черты интеллигентского облика. Трижды возвращаются к ней авторы сборника (с. 45, 141, 199).

«Разоблачения, связанные с именем Азефа, — пишет г. Булгаков, — раскрыли, как далеко может идти при героическом максимализме неразборчивость в средствах, при которой перестаешь уже различать, где кончается революционер и начинается охранник или провокатор» (с. 45).

«Под красивым флагом, — подтверждает г. Изгоев, — легко провезти какой угодно груз... Что Гурович по своей личной нравственности человек достаточно опороченный, об этом знали все, но пока г. Гурович<sup>5</sup> объявлял себя революционером и громко говорил революционные речи, ему все прощали и на его «грешки» смотрели сквозь пальцы» (с. 199).

Видите: и тут — все знали. Общее это свойство...

Всюду ищут семь писателей, ничего не забывают. Временами их усердие прямо до смешного доходит.

Г. Изгоев знаком был в Париже с социалистом-революционером, сын которого — мальчик 10 лет — неожиданно для родителей увлекся католицизмом. Вот вам и готово «яркое, хотя и парадоксальное свидетельство, устанавливающее один, почти всеобщий для русской интеллигенции факт: родители не имеют влияния на своих детей» (с. 183).

Уцепившись за это «свидетельство» и подбирая к нему другие такие же, нетрудно написать не только статью, но и целую книгу о недостатках, пороках, преступлениях русской интел-

лигенции. А таков именно метод, при помощи которого составлены «Вехи»\*.

Разные бывали течения в среде русской интеллигенции — очень широкие и совсем узенькие, то сливающиеся между собою, то резко сталкивающиеся... Много в ее истории можно найти увлечений и ошибок, много ею было пережито страданий и несчастий... В результате ее мирозерцание чрезвычайно обогатилось, ее мироотношение очень усложнилось и ее духовный облик достаточно уже прояснился, черты его приобрели большую выразительность... Но не это интересует писателей, собравшихся в «Вехах». Они старательно выискивают, нет ли с той или другой стороны — в прошлом или настоящем — какого-либо пятнышка и, найдя таковое, усердно его размазывают, стараясь всячески очернить ненавистную им русскую интеллигенцию — народничество с «поглощенным» им марксизмом — и не замечая нередко при этом, что один стирает краску, только что другим наложенную, — стирает, впрочем, для того только, чтобы немедленно заменить ее другою, не менее черною.

Усердие они проявили большое... Если нужной им краски в среде самой интеллигенции, которую они задумали очернить, казалось им мало, то и на стороне они брать ее не стеснялись. Я уже упомянул, как они воспользовались для этого славянофильством и толстовством, которые сами уже выделили. Как

---

\* Нелишне, может быть, будет напомнить, что этот прием уже получил однажды себе оценку в «Русском богатстве». Характеризуя этот именно прием, которым широко пользовался и пользуется г. Меньшиков, Н. К. Михайловский сравнивал последнего с Иудушкой Головлевым (см.: Последние сочинения Н. К. Михайловского. Т. II. С. 454—455 или: Русское богатство. 1903. Ноябрь). Это имя, как известно, так и осталось за г. Меньшиковым. К слову сказать, и тогда речь шла, между прочим, об интеллигенции, которую г. Меньшиков желал опорочить, уцепившись за то, что Накрохин (был такой писатель) бедно жил и бедно был похоронен. «Недостает только, — писал Михайловский, — чтобы он притянул к ответу за Накрохина евреев, армян, финнов, которые действительно ровно столько же виноваты в печальной судьбе покойного, как и все обвиняемые г. Меньшиковым». И в данном случае мы вправе спросить: почему семь писателей за пороки и преступления, которые ими найдены, притягивают к ответу русскую интеллигенцию? Почему они не притянули заодно весь русский народ, даже все человечество? Или, например, всех парижан за этого социалиста-революционера, проживающего в Париже? Доказательств, право, можно было бы подобрать не меньше.

они далеко зашли в этом отношении, ясно будет из того, что на счет «русской интеллигенции» они поставили даже взгляды К. Н. Леонтьева (с. 103), советовавшего, как известно, «подморозить Россию»<sup>6</sup>. Но и этого им было мало. В своем усердии они перебрались за границу, за обвинительными материалами не поленились обратиться даже в Турцию, хотя это и рискованно было при неустойчивости тамошнего политического положения.

«Быть может, — пишет г. Изгоев, заканчивая свою статью, а вместе с тем и всю книгу, — самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок, которые смогли организовать национальную революцию и победить почти без пролития крови» (с. 209).

Когда я пишу эти строки, в Константинополе уже льется кровь, и неизвестно еще, сколько ее будет еще пролито, прежде чем новый порядок в Турции установится<sup>7</sup>. Неизвестно еще и то, каков будет этот порядок. А авторы «Вех» и им по русской интеллигенции уже ударили...

## V

Искренность некоторых писателей, принявших участие в «Вехах», уже вошла в поговорку. Кто, в самом деле, усомнится в искренности хотя бы г. Струве или г. Булгакова? Патентованные, можно сказать, в этом отношении писатели. Нет у нас основания сомневаться в искренности и других авторов.

Взять хотя бы г. Гершензона... С каким чувством написал он свою статью! И заметьте: вся почти она написана в первом лице, о «нас» в ней говорится... Видно, человек о себе пишет, в своих грехах кается... Что можно сказать против этого? Стало быть, явилась у человека такая потребность — потребность всенародно покаяться в своих прегрешениях — в неряшливости, в покладливости, в недобросовестности, в половой грязи, в умственной и нравственной лени, в том, что он целые полвека жил, как проказливая собака...

Бывает это... Если верить г. Изгоеву, то у русской интеллигенции такая потребность является даже постоянною. «Раскаяние», «самообличение» и проч., пишет он, «составляют постоянную принадлежность русского интеллигента, особенно в периоды специфического возбуждения» (с. 203).

Правда, г. Булгаков утверждает как раз обратное. «Отсутствием чувства греха и хотя бы некоторой робости перед ним, — пишет он, — объясняются многие черты душевного и жизненного уклада интеллигенции» (с. 50). Но мы уже знаем, что писателям «Вех» нельзя верить в полной мере...

В действительности «самообличение» вовсе не является, конечно, «постоянной принадлежностью» русского интеллигента, но нельзя сказать и того, что «чувство греха» в нем вовсе «отсутствует». Достаточно, мне кажется, напомнить «Рыцаря на час» Некрасова. Из воспоминаний известно, что Г. И. Успенский, например, не мог прочесть этого стихотворения без того, чтобы не разрыдаться. Да и среди рядовых русских интеллигентов, я думаю, не много найдется таких, которые могли прочесть эту не превзойденную до сих пор вещь по силе вложенного в нее покаянного чувства, чтобы не взволноваться и не почувствовать, что что-то подступает к горлу. Есть в интеллигентской душе эта струна, и бывает, что она звучит очень и очень громко.

«Интеллигентского поэта Некрасова» знает и г. Булгаков, знает его даже как автора «Рыцаря на час» (с. 46). И если он покаянной струны в душе русского интеллигента не заметил, то, несомненно, потому только, что чересчур уж увлекся своими розысками. Достаточно сказать, что «интеллигентского поэта» он припелел для того лишь, чтобы обличить русскую интеллигенцию в «педократии»<sup>8</sup> и неустойчивости... Впрочем, и с точки зрения г. Булгакова, писателям, собравшимся в «Вехах», чувство греха свойственно — по-видимому, он даже находит в этом одно из главных отличий их от «русской интеллигенции».

Нет, стало быть, ничего мудреного, что «Вехи» — это акт всенародного покаяния семи писателей. В упомянутом уже мною фельетоне, помещенном в «Слове», г. Франк так все дело и объясняет: «Непроизводительному обличению противника, — пишет он, — они (т. е. участники «Вех». — А. П.) противопоставляют самообличение и покаяние, которое они пережили сами и к которому призывают других...»\*.

Итак, «Вехи» — это «покаяние» и «самообличение»\*\*. Каются семь писателей — и нас покаяться призывают, нас —

\* Слово. 1 апреля.

\*\* Если у вас остается еще какое-то сомнение в этом, то почитайте, с каким сокрушением г. Булгаков говорит о своей греховности. «Выставляя свой идеал, в истинности которого я убежден, — пишет он в *post-scriptum*'е *pro domo sua*, — я отнюдь не подразуме-



язычников. Для г. Булгакова, например, мы ведь подлинные язычники. «Уже в эпоху Реформации, — пишет он, — обозначается то духовное русло, которое оказалось определяющим для русской интеллигенции. Наряду с реформацией в гуманистическом ренессансе, возрождении классической древности, возродились и некоторые черты язычества».

Вот от этого-то возрожденного язычества он и ведет происхождение русской интеллигенции... И он обличает наш «гуманистический прогресс». «Гуманистический прогресс, — поучает он нас, — есть презрение к отцам, отвращение к своему прошлому и его полное осуждение, историческая и нередко даже личная неблагодарность, узаконение духовной распри отцов и детей» (с. 55).

Не то новая вера, с которой пришел он к нам. Дисциплина «послушания» — разъясняет проповедник — «воспитывает чувство связи с прошлым и признательность к этому прошлому, восстанавливает нравственную связь детей с отцами»... И вот он взывает к нам: «Не пора ли вспомнить о простой, грубой, но безусловно здоровой и питательной пище, о старом Моисеевом десятословии, чтобы потом дойти и до Нового Завета»!.. (с. 51). Мы слушали вас, г. Булгаков, внимательно, слушали с открытым сердцем... Но не вправе ли мы сказать вам: врачу! исцелился сам...<sup>9</sup> Вот вы говорите: чти отца твоего и мать твою... А сами как поступаете? Как к отцам своим и к прошлому относитесь? Разве не с полным осуждением? Разве не с историческою, а может быть, и личною неблагодарностью? В грехах вы каетесь — а сами только и делаете, что «мать» свою разносите. Обличаете вы нас, спицу в нашем глазу рассмотрели, а бревно в своем глазу так и не почувствовали. Если вы действительно верующий человек, если ваше смирение не показное, если

---

ваю при этом, чтобы сам я к нему больше других приблизился. Да и можно ли чувствовать себя приблизившимся к абсолютному идеалу?» И на свою обличительную проповедь он смотрит как на трудный подвиг, выпавший на его долю. «Сколь бы низко не думал я о себе самом, — пишет он в том же *post-scriptum'e*, — я чувствую обязанность (хотя бы в качестве общественного «послушания») сказать все, что я вижу, что лежит у меня на сердце как итог всего пережитого, пережитого, передуманного относительно интеллигенции. Это повелевает мне чувство ответственности и мучительная тревога и за интеллигенцию, и за Россию» (с. 59). Смирненный инок — да и только. Обличает он нас, геенной грозит, грешниками считает, но при этом немедленно прибавляет: от них же первый есмь аз...

ваше покаяние из глубины души идет, то как же этого разлада между вашим словом и делом вы не заметили? — разлада, к слову сказать, который вы обнаружили на чреде «послушания» вашего, «дисциплину» которого вы только что нам разъяснили... И г. Булгаков — не один ведь такой. Вот и г. Изгоев упрекает интеллигенцию в отсутствии «крепких прогрессивных традиций семьи» и в то же время сам стремится во что бы то ни стало прогрессивную традицию в интеллигентской среде разрушить...

А потом выступает г. Франк и пишет: «Если бы заповедь о почитании родителей имела безграничное значение, жизнь должна была бы застыть на месте...» \*

Или у вас две мерки: одна для русской интеллигенции была заготовлена, а другая для себя была припасена?..

Мерки же у вас действительно разные. Любопытнее всего, что вы это хорошо знали, когда выпускали свою книгу. Приведу такой пример. Русскую интеллигенцию авторы «Вех», как мы видели, с «корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата» породнили, «картину своеволия, экспроприаторства, массового террора» из «духовных потенций» ее вывели. Большую суровость они проявили: всю накипь освободительного движения на счет интеллигенции поставили. Между прочим, г. Булгаков на 45-й странице это сделал. А на 53-й странице, расхваливая свою «учащую Церковь» с ее «смирением», он задумал от упреков ее в «низкопоклонничестве» обелить. Но, должно быть, сам сообразил (или товарищи напомнили), что «слишком много этого самого низкопоклонства наблюдается в жизни и нельзя поэтому просто сказать: нет его, да и все тут. И вот г. Булгаков делает такое подстрочное примечание: «Конечно, все допускает подделку и искажение, и именем смирения прикрываются и прикрывались черты, на самом деле ничего общего с ним не имеющие, в частности — трусливое и лицемерное низкопоклонство. Чем выше добродетель, тем злее ее карикатуры и искажения. Но не по ним же следует судить о существовании ее...»

Видите, какую снисходительность проявил г. Булгаков к своей «Церкви». А об интеллигенции авторы «Вех» судят по хулиганству и разнузданному разврату. Несомненно, они и сами заметили это слишком уж очевидное пристрастие, и в только что приведенном мною примечании оказалась такая вставка: «так же точно интеллигентским героизмом и револю-

\* Слово. 1 апреля.

ционностью прикрывается нередко распущенность и хулиганство». Другую мерю, стало быть, хулиганство и распущенность перемерили. Но ведь в остальных-то местах сборника прежняя мера — не снисходительная, а суровая — осталась, и мы имеем теперь возможность воочию видеть всю разницу между ними.

Да, мерки у них разные... Приведу еще пример. Трижды, как я уже сказал, авторы «Вех» попрекают русскую интеллигенцию провокацией. Не удержался от такого попрека даже г. Струве. «Революцию, — пишет он, — делали плохо. В настоящее время с полной ясностью раскрывается, что в этом деле революции играла роль ловко инсценированная провокация» (с. 141).

Я приводил уже и теперь вновь приведу то, что г. Изгоев, в связи с попреками в провокации, пишет о Гуровиче. «Что Гурович по своей личной нравственности человек достаточно опороченный, — говорит он, — об этом знали все». «Все» — это, конечно, г. Изгоев в увлечении написал: громаднейшая часть русской интеллигенции никакого понятия о Гуровиче, конечно, не имела. Если же «знали», то, стало быть, знал об этом прежде всего г. Струве, — он ведь редактировал «Начало»<sup>10</sup>, при помощи которого Гурович втерся в среду петербургской интеллигенции. Казалось бы, кающийся г. Струве и должен был написать: я делал или, по крайней мере, мы делали революцию при помощи провокации. Вот где было бы вполне уместно первое лицо... Но он предпочел бросить обвинение в пространство. Выходит, что это *они* так делали — делала «русская интеллигенция». Но все-таки г. Струве прибавил: не в этом суть... И мерка для провокации у него оказалась совершенно иная, чем у г. Булгакова или г. Изгоева: последние на счет нравственной неразборчивости русской интеллигенции ее поставили, а г. Струве, памятуя, по-видимому, что и сам он имел несчастье попасться в ее сети, только «неделовитость революционеров и практическую беспомощность» в ней усмотрел...

Искренние все это писатели... Всею душою, конечно, они веруют в то, что проповедуют. И верят, что до гроба этой вере не изменят. Это и придает, конечно, силу и страстность их обличениям и раскаянию...

Верят ли, однако? Все ведь они не в первый уже раз меняют веру. Неужели у них нет никаких сомнений насчет будущего? Взять хотя бы г. Струве. И в марксизм он русскую интеллигенцию вел, и в к<a>д<e>тскую> партию вовлекал, и вот теперь опять куда-то зовет. Неужели после всех ошибок, которые он

наделал, ему и в голову не приходит, что он, может быть, опять не туда ведет, что опять «соблазняет малых сих», что потом вновь придется каяться? Неужели он действительно верит, что теперешний, вновь открытый им путь единственно правильный, а все остальные — пути погибели? Пора бы, казалось, в своих способностях вести и учить людей ему усомниться.

Но он, очевидно, верит. Во что верует, то и проповедует. И, конечно, чему учит, то и сам делает.

В январской книге «Русской мысли» им написаны (и подчеркнуты) такие слова: «*Сажать капусту важнее, чем писать книги. И важнее не в утилитарно-житейском, а именно в религиозном смысле. Эта мысль включает одну из правд, содержащихся в учении Льва Толстого. Учение об опрощении лишь довольно убогий и практически бесплодный вывод из этой мысли, которую можно менее конкретно выразить так: жить и действовать важнее, чем рассуждать о жизни и действиях*» (с. 207)<sup>11</sup>.

Признаюсь, что, прочитав эти строки и зная искренность г. Струве, я готов был думать, что отныне он возьмется за более важное дело и займется — не буквально, конечно, «сажанием капусты», — а производством материальных ценностей, к чему он так усердно склоняет в последнее время русскую интеллигенцию. Тем естественнее это было думать, что г. Струве вспомнил Толстого, который, додумавшись до своей, хотя и «убогой» правды, как известно, надел лапти и взялся за соху. Наконец, и та мысль была: рассуждения г. Струве о жизни и действиях были не особенно задач л ивы, нет поэтому ничего удивительного, что он предпочтет им отныне самые действия...

Нелишнее будет отметить, что *одновременно\** с г. Струве мысль о преимуществах капусты сравнительно с книгами вы-

\* Я выделил слово «одновременно», имея в виду, что в той же книге «Русской мысли» на сделанное мною как-то указание, что лозунг «Великая Россия» г. Струве заимствовал у г. Столыпина<sup>12</sup> не случайно, г. Струве ответил, что он сделал это «в рассуждении гг. Пешехоновых». Я и хочу отметить, что в этот раз никакого уловления ни гг. Пешехоновых, ни кого-либо другого со стороны г. Струве не было. Он и г. Меньшиков додумались до капусты самостоятельно и одновременно: когда г. Меньшиков писал свою статью, январская книга «Русской мысли» уже вышла, но в Петербурге не была еще получена. Кстати, отмечу и еще одно совпадение. В «написанных два года тому назад набросках», которые помещены в «Вехах», вышедших в марте, г. Струве обвиняет русскую интеллигенцию в «государственном воровстве». В том же «государственном воров-

сказал и г. Меньшиков. Правда, первый сделал это со свойственным ему лаконизмом, а последний со свойственным Иудушке Головлеву многословием. Но по существу мысль, несомненно, та же, в чем нетрудно будет убедиться читателям из следующей, по необходимости довольно длинной, выдержки, которую я сделаю из «Нового времени» (от 25 января).

Стоит ли мне, — писал г. Меньшиков, — весь век свой писать, писать и писать? Не будут ли это одни гамлетовские “слова, слова, слова”! Нигде на свете не пишут, как в России, — но не в чернилах ли утонула душа правительства? Как бы в чернилах не утонула и душа интеллигенции, т. е. в бесплодном размышлении, бесконечном учительстве, в “словах, словах”! Если бы я снова начинал жизнь, я предпочел бы хоть немножко *дела*. Небольшие свои умственные и физические силы я пристроил бы к реальному труду, к какому-нибудь живому помыслу, например к земледельчеству. У меня нашелся бы клочок наследственной земли — наконец, я мог бы отыскать кусок совсем дикой пустынной местности. В России, я думаю, нетрудно найти десятин пятьдесят болота, не правда ли? Даже под самым Петербургом. Представьте же, что я с достаточной энергией взялся бы за “пустошь”. Работал бы изо дня в день, как стальная машина, как латыш на псковских болотах. Вырубал бы заросли, корчевал бы пни, расчищал бы луга, копал каналы, пахал бы, рылся бы в земле, как крот. Нет ни малейшего сомнения, что при трезвости и упорстве через тридцать лет работы у меня не было бы, конечно, тридцати томов статей, которых даже сам я не в силах прочесть, но было бы тридцать десятин высококультурной земли. Это был бы прекрасный подарок отечеству, очень высокий вклад в народное благо. Тридцать десятин культурной земли, где из каждого квадратного фута растет питание человека, вещь великая. Это библейское чудо вроде того, как Моисей ударил жезлом по камню и потекла вода<sup>13</sup>. Ударяйте или просто двигайте известного устройства жезлом по земле, делайте это методически, не уставая, и через некоторое время из каждого дюйма земли полетится нечто питательное и вкусное — пшеница, горох, гречиха, яблоки, капуста...».

Разница, если и есть, только та, что г. Струве придал своей мысли религиозный оттенок, а г. Меньшиков — утилитарно-

---

стве» обвиняют ее и октябристы в своем адресе г. Суворину, подписанном ему в день юбилея, в феврале месяце. Кто кого уловил — я совершенно недоумеваю. Очевидно, не только мысли, но и выражения «с ветром носятся»...

жителей (хотя и он сажание капусты в виде чуда изобразил и с личным раскаянием мысль о ней связал). Да разве в том еще разница, что г. Меньшиков на свою старость сослался, а г. Струве, по-видимому, — не так стар, как г. Меньшиков...

После того прошло несколько месяцев: г. Струве и г. Меньшиков продолжают писать статьи и книги... И вот я недоумеваю: чем же искренность г. Струве отличается от искренности г. Меньшикова? Неужели тем только, что г. Меньшиков пишет прямо: «стройте замки», вводите крепостное право, а г. Струве прозрачно намекает: служите помещикам и фабрикантам?

Когда же после этих размышлений об искренности я вспоминаю о «Вехах», то невольно приходит в голову такая мысль: искренние эти писатели... Но искренность, очевидно, имеет границы, за которыми она переходит... Мне не хочется решать, во что она переходит и какую именно границу перешли авторы сборника, как будто нарочно рассчитанного на то, чтобы вызвать скандал...

Заканчивая свою статью, скажу одно только. В предисловии, как я уже упомянул, авторы «Вех» называют своих предшественников: Чаадаева, Соловьева, Толстого, «всех наших глубочайших мыслителей»... Мне кажется, это слишком великие для них предтечи.

А предтечи у них были. Были: Крестовские, Стебницкие, Маркевичи, Дьяковы-Незлобины...<sup>14</sup> Много их было.

*(Русское богатство. 1909. № 4 (апрель). С. 100—126)*

